

С. В. ЛУРЬЕ**Лев Шестов****(К шестидесятилетию его рождения)**

Тому, кто ищет в философии успокоения и утешения, уравновешенной мудрости, торжества «прекрасной души», примирения с бытием, не для чего раскрывать книги Шестова. В них он найдет глубокую тревогу, неустанное мучительное искание, полную переоценку философских ценностей и ни одного прямого ответа на прямые вопросы, которые обычно ставит и, так или иначе, разрешает философия. Основные проблемы у Шестова смещены в совершенно иную плоскость, в которой признанное и общеобязательное воспринимается как призрачное и иллюзорное, а бесспорно иллюзорное неожиданно облекается в плоть реального бытия. Мало того, у Шестова не только нет успокоения, но он и не ищет его. Вся его огромная работа направлена на углубление тревоги, на подрывание почвенности жизни, на борьбу с тем, что в области духа способствует спокойной и счастливой жизни.

Философия к Шестову пришла не извне. Когда в нем началась та внутренняя работа, которая привела его к философии, он вряд ли подозревал связь ее с теми абстрактными проблемами, которые составляют предмет философского исследования. Пережитое в напряженном душевном процессе нашло свое выражение в его философии, вне всякой академической традиции и рутины.

В основном и самом важном европейская философия живет наследием эллинского мира. В новое время так же, как и в древности, создавались системы, отвечавшие на вопросы о сущности вещей, об источнике и предмете познания, об истине и ее критерии. Как ни разнообразны ответы, которые давались различными философами и их школами, в их видимом разнообразии нетрудно уловить некоторые определенные черты. Орудие познания — разум. Это прямо или скрыто было признано всеми. Даже крайние релятивисты древности, видевшие источник познания в чувственном восприятии, утверждавшие, что человек есть мера вещей, пришли разумом к этому утверждению и лишь в разуме почерпали обоснование истинности и обязательности своей философии. Предмет познания не бесконечное хаотическое многообразие конкретного мира, а те элементы в нем, которые вечны, необходимы, следовательно, истинно существуют; вечны же и нетленны не вещи, а идеи вещей, познаваемые разумом. Задача познания мира совпадает поэтому с задачей построения разумом мира идей, и истинный смысл жизни человека раскрывается в приведении его природы в соответствие с господствующей в этом умопостигаемом мире закономерной необходимостью. Нравственная жизнь человека таким образом свя-

зывается с его философским миропониманием, этика и метафизика взаимно друг в друга проникают, одинаково подвластные высшему суду — разуму и его законам.

Это в широком смысле рационалистическое миропонимание составляет прочнейший устой жизни и мышления европейского человечества. Ему оно обязано своей цивилизацией, всеми своими научными, социальными и техническими завоеваниями. Оно представляется сознанию как самоочевидное, недаром один из видных современных философов в теории познания видит дилемму: разум или сумасшедший дом. Не только миропонимание, но и мироощущение современного человека, как и древнего эллина, в значительной степени пропитано рационализмом, и то, что выходит за область разумно воспринимаемого, остается незамеченным, как бы несуществующим.

Но на самом деле внутренний опыт говорит нам, что не все в жизни человека происходит по разуму и его законам, что сам разум на некоторой глубине попадает в сети, им самим заготовленные для уловления идей, попадает — и бессилён справиться с самим собой: *summa ratio — summum absurdum*. В частности, опыт религиозной жизни и художественного творчества в основе своей независимы от самодержавия разума. Правда, разум без борьбы не сдаётся: он накладывает на них свою мертвую, схематическую маску, извращает их действительный лик и превращает их, по выражению Шестова, в «социальную субстанцию». Но победа разума не прочна. От времени до времени возвышают свой голос пророки, мистики, одинокие мыслители, идущие своими путями, не признающие преобладающей власти разума и дающие непривычный обыденному глазу аспект мира и жизни. За ними не идут толпы учеников и последователей, их имена не передаются из поколения в поколение, подобно именам героев разума. Редко кому из них дано в словах раскрыть тайну души своей; многие, крепко связанные узами жизненного, обыденного, разумного, содрогаются от собственных прозрений, скрывают их от людей, иногда душат в самих себя мысль, несущую то, что на языке разума зовется соблазном и безумием.

Из философов нового времени Бергсон с наибольшей силой возражал против неограниченной власти разума и своим «Опытом о непосредственных данных сознания» сдвинул философию с ее старых привычных путей. Задача Шестова та же, но пути его иные. До конца понятый и пережитый «Опыт» неизбежно приводит к молчанию. Бергсон пришел к основной своей мысли от философии, и у философии нет тех слов, в которых эта мысль могла бы развернуться во всей ее полноте. Материал Шестова другой. В нем самом, как будто, сдвинулся с места тот орган, которым человек видит, слышит и осмысливает свою жизнь, и он стал по-новому видеть и проверять себя на том материале, которым обычно философы не пользуются. Он не замолчал, подобно

Бергсону, а бьется над своим живым материалом, ищет и нередко находит пути для воплощения в слове своей мысли.

Первый человек, искушенный змеем, нарушил запрет Бога и вкусил плод дерева познания, и «открылись глаза его». Поселив человека в раю, Бог сказал ему: «Питайся плодами всех деревьев сада, но не ешь плодов дерева познания добра и зла, ибо в тот день, когда ты вкусишь их, ты смертью умрешь». То, что «открылись глаза его», в мысли Бога было смертью. Так понимает библейское сказание Шестов. Истинная жизнь для человека кончилась в тот момент, когда открылись глаза его, т. е. когда разумное познание преобразило первоначальный мир, воцарило в нем закон необходимости, поработившей человека, замкнуло его в ограниченном круге земного устройства. Оно лишило его блаженного бытия, не знавшего разрыва между субъектом и объектом, и водворило в идеальном мире эллинов, т. е. на «проклятой Богом» земле. Как бы во втором мире был создан не действительный, а заколдованный, не бытие, а тень его, не жизнь, а призрак ее, и к этому призраку прикован был человек, осужденный без срока. Где-то в тайниках его души теплится отдаленное воспоминание о райской жизни, полного полной дыхания Божьего, с ее безграничной свободой от навязанных тираническим разумом обязательных законов, с ее незнанием добра и зла, истины и заблуждения... Для Шестова это объяснение библейского текста не игра ума, а глубокое убеждение, выношенное в течение долгих лет его исканий, которые он сам называет «странствованием по душам». Логический «глаз» создает иллюзию твердого хрустального купола над нами. «Общее и необходимое есть небытие *par excellence*. Только постигнув это, философия искупит грех Адама и придет к корням жизни, к тому важнейшему, о котором спокон тысячелетий грезят люди» («О корнях вещей»). Свою раннюю книгу («Философия и проповедь») он кончает словами: «Добро не есть Бог. Нужно искать Бога». Это было лишь началом. В дальнейшем добро оказалось не только ниже Бога, но началом, засоряющим пути к Нему, искушением и соблазном. Человек, придумавший добро, кощунственно захотел соперничать с Богом, создавшим мир. «Если бы не было Платона, — говорит Шестов во «Власти Ключей», — человечество никогда не узнало бы, что, кроме неизвестно кем сотворенной в седую старину материи и других сущностей, есть еще одна сущность, более реальная, чем все возникшие до нее — добро. Что все остальные сущности на деле призрачны, а реально одно добро. В этом великое, величайшее, ни с чем несравнимое дело Сократа, приписываемое впоследствии эллинизму. Сократ хотел уподобиться Богу, даже превзойти его. Бог создал вселенную, Сократ создал добро, нечто более ценное, чем весь мир, вся вселенная... «Мир преходящий, добро вечно». Отсюда уже недалеко до мысли о том, что добродетельная душа, исполняющая веления автономного добра, своею добродетелью ограждает себя от Бога и удаляется от познания Его.

Мысль о внутреннем конфликте между религией и моралью, быть может, сама по себе не нова, но она является в новом свете в контексте Шестова. Враждебно Богопознанию не добро, а как всякая обязательная норма разума. Кантовская теория познания с ее синтетическими идеями а priori откровенно объявляет действительный Божий мир призраком, рожденным «формами чувствительными»; позитивизм с его верою в однообразие порядка природы, материализм и идеализм как системы, при всех своих различиях каждая по-своему предписывающие миру нормы бытия, одинаково для Шестова превращают мир в тюрьму; неуловимые тюремщики, как бы они ни назывались: априорные идеи, категорический императив, закономерность, причинность, — одинаково стерегут человеческую свободу, обрекая ее на смерть. Но обреченные редко знают, что они уже мертвы. Им кажется, что «глаза их открыты» и что они будут открываться все шире, по мере того как они яснее станут различать узоры плесени и тления, открывающие роковые стены тюрьмы...

Проблема истины у Шестова в соответствии с этим приобретает особый смысл. Если истина общеобязательная, она, как верховная норма, посягает на свободу. В платоновском диалоге Евтифрон спрашивает Сократа: потому ли боги любят святость, что она свята, или потому святость свята, что ее любят боги¹. Представьте вместо святости истину, и ответ Шестова будет решительный и, конечно, противоположный ответу Сократа: истина есть истина, потому что ее любит или хочет Бог, ибо в его творческой воле или в его произволе власть творит истину. То, что Шестов говорит о необщеобязательных истинах, нужно, по-видимому, понимать в том смысле, что истина — не истина науки и обыденности, а истина философская — имеет своим источником свободный произвол творческой воли, «созидающей и разрушающей мира».

Если можно с некоторым приближением передать основные тенденции шестовского мышления, то уже совершенно невозможно передать его аргументацию. В собственном смысле аргументации у него нет. Какая может быть аргументация у философа, в корне отрицающего силу логики и доказательство в своей области. Какой вес могут иметь доказательства там, где свободный дух свободно творит по ту сторону истины и заблуждения, по ту сторону добра и зла, где истина не общеобязательная и где научить ей никого нельзя. Между тем в том, что у Шестова заменяет доказательства, проявляется вся его несравненная сила.

Я уже упомянул о том, что материал свой Шестов брал не там, где берет его академическая философия. Ему не нужны были мертвецы с широко раскрытыми стеклянными глазами. Он стремится проникнуть в живые тайники великих человеческих душ, прощупать в них то, что было источником их творчества и в чем сказалось их самое важное и самое жизненное. В Шекспире, Толстом, Достоевском, Ницше, Пла-

тоне, Лютере, Паскале, Плотине и целом ряде других великих людей он искал и наладил созвучие с тем, что мучительно тревожило его самого. В этом его «аргументация», захватывающая, порою неотразимая. Он находит в великих душах их великие провалы, противоречия и несообразности, их человеческие усилия высвободиться из роковых цепей, их великий страх перед возможным освобождением. Если для Шестова несомненно, что жизнь — тюрьма, то ему еще неизвестно, какова та жизнь, которая расцветает за ее пределами, и что делать в ней человеку, отягченному многотысячелетним балластом эллинского мира, ставшего его природой и плотью.

Шестов не приемлет академической философии, но академическая философия приемлет Шестова. Его выбирают в президиум общества имени Ницше, его печатают в *Jahrbücher*, печатает *Revue Philosophique*². Немецкая, французская и английская философская критика в лестных, часто не по-академически восторженных выражениях приветствует его книги. Не знаменательное ли это явление? Не означает ли оно, что назревает в философских кругах какой-то поворот, в сторону освобождения философии от великой эллинской традиции? Не лучший ли это дар, который можно преподнести Шестову в шестидесятую годовщину его рождения?

С. В. ЛУРЬЕ

Истина Библии и истина философии (К шестидесятилетию рождения Льва Шестова)

История еврейской духовной культуры должна отметить факт чрезвычайного культурного и философского значения. Еврейской философии в том смысле, в каком ее понимают культурные народы, не было и нет до сих пор. Были философы евреи, но дело их творчества — это нужно решительно признать — принадлежит не еврейству, а обще-европейской культуре. Евреи философы не только никогда не были выразителями того огромного духовного напряжения, которым жило еврейство, но по существу денационализировали еврейскую мысль. Соблазненные величиим и значительностью греческой философии и европейской философии, составляющей ее дальнейшее развитие, они игнорировали те коренные национальные духовные мотивы, которые могли бы составить базу для еврейской философии. Пропитанный всецело эллинской культурой и в частности амальгамою платонизма и стоицизма, господствовавшими в его время, Филон поставил свою задачу ввести еврейство в круг современных ему философских идей¹.